

Глава 14. Расставание

После окончания войны прошло около двух лет. Великая победа, одержанная советским народом, укрепила авторитет страны и существенно расширила сферу её политического влияния. В ряде освобожденных нами стран утвердились прокоммунистические режимы. В них, а не только в оккупированных областях Германии и Австрии, оставались наши войска. Страна не спешила с разоружением. Заводы и верфи продолжали ковать оружие: танки, самолеты, корабли. Всё это осложняло наши отношения с недавними союзниками, заподозрившими руководителей страны в намерении насильственного насаждения коммунизма в Европе. Начался период «холодной войны», отягощённый беспрецедентной гонкой в создании атомного оружия.

Внутри страны шёл процесс восстановления разрушенного хозяйства. Возрождались города, сёла. Заводы и фабрики, вывезенные в годы войны на Восток, так там и остались. Частично использовалось оборудование, поступающее в качестве репараций из оккупированных областей Германии. Эшелоны с оборудованием и техникой шли с Запада непрерывным потоком.

В строительстве заводов, фабрик, дорог, жилья, помимо гражданского населения, принимали участие воинские части, военнопленные, трудармейцы, а также сотни тысяч, а может быть, миллионы заключённых. Последние использовались на самых тяжёлых работах в отдалённых и суровых уголках страны. К традиционным видам работ (добычи руды, угля, леса, камня) добавилась добыча урановой руды, в большинстве случаев ведущая к облучению и гибели заключённых.

Жизнь в стране оставалась очень тяжёлой. Хлеб, соль, крупы, растительное масло, селёдка, сахар, а также мануфактура и обувь отпускались в магазинах по карточкам. Нормы низкие, часто не обеспеченные товаром. Всё остальное на рынке. Там торговали хлебом (70 рублей за буханку), американской тушёнкой, поступавшей к нам по ленд-лизу, военным обмундированием; одеждой, сшитой из трофейных одеял; вещами, вывезенными военными из оккупированных областей Германии.

В стране расцвёл теневой бизнес, отдельные лица и криминальные структуры скопили огромные состояния. Появилось много фальшивых денег. В результате финансовая система страны оказалась в тяжёлом состоянии. В этих условиях в 1947 году была проведена денежная реформа. Новые банкноты обменивались в отношении десять к одному. К обмену принимались суммы, не

превышающие восемь тысяч рублей. Чтобы остановить рост рыночных цен, особенно цен на хлеб, была организована коммерческая торговля. После отмены карточек цены в магазинах были установлены на уровне коммерческих.

Страна жила ожиданием перемен. Побывавшие на Западе военнослужащие и репатрианты, увидевшие, как там живут люди, надеялись, что и в Советском Союзе будут проведены соответствующие преобразования. Часть интеллигенции рассчитывала на ослабление цензуры, возможность более свободно выражать свои мысли и чувства. Трудармейцы рассчитывали на демобилизацию. Репрессированные народы – на возвращение к прежним местам обитания. Заключённые – на амнистию.

Кое-что произошло: амнистировали некоторые бытовые статьи, несколько улучшилось питание и бытовое содержание заключённых. Распустили трудовые лагеря. Немцев-трудармейцев перевели на положение ссыльных. Но в целом армия бесплатной рабочей силы не сократилась. Более того, в лагеря хлынули новые потоки заключённых. Гнали военных, побывавших в плену или окружении, и, прежде всего, «власовцев». Гнали тех, кто, оказавшись на оккупированной территории, «сотрудничал с немцами». Среди них много тех, кто, спасая от голода своих детей, престарелых родителей, работал в государственных учреждениях - учительствовал, врачевал, ремонтировал, строил.

В начале 1947 года по Штабному лагпункту пронесся слух: всех женщин будут отправлять в специальные женские лагеря. От кого впервые услышал я эту новость, не помню. Она передавалась из уст в уста, как шелест листьев в притихшем перед грозой лесу. Для заключённых женщин эта весть таила угрозу. Репутация женских лагпунктов была плохой. Прежде всего, потому, что там большинству из них приходилось работать на тяжёлых мужских работах. Шансы попасть в обслугу и тем более в контору были значительно меньше, чем в смешанных лагерях.

Сначала была надежда, что это только слух, но вскоре существование соответствующего приказа подтвердил Яков Яковлевич. На одной из ночных переключек, которые проводил начальник Усольлага Тарасюк, и на которые иногда вызывали Якова Яковлевича как главного бухгалтера ОЛПа, речь шла как раз о сроках его реализации. Макаренко всячески тянул время. Ему позарез нужны были девушки на нижнем складе. И он через Умнова уговорил Тарасюка отложить отправку женщин до окончания сплавных работ. Одновременно на лагпункте Головной рядом с производственной зоной началось строительство новой олповской конторы. В новое

просторное здание летом должен был перебраться весь управленческий персонал ОЛПа. Рядом с зоной возводился посёлок для вольнонаемных сотрудников.

Хотя высылка женщин со штабной откладывалась, лагерный режим ужесточился. Встретиться вне конторы стало почти невозможно. Провинившихся женщин отправляли на Головную или Трактовую. В самой конторе постоянно находился кто-либо из надзирателей. Такая вдруг проявившаяся забота о нравственности заключённых удивляла. Высказывались самые невероятные предположения. Говорили, например, что это месть начальника оперчекотдела Усольлага, Геруса, жена которого, находясь на лечении в Нижне-Мошевской больнице, вступила в связь с заключённым врачом. И хотя об этой связи и её трагических последствиях говорили давно и упорно, было неясно, почему Герус должен был мстить таким образом. Высказывалось также мнение, что разделения мужчин и женщин требовали родственники заключённых. То, что такое решение было принято лично Сталиным, никому из нас не приходило тогда в голову.

В марте сорок седьмого ушел на освобождение Яков Яковлевич. Расставание было грустным, во всяком случае, для меня. С его уходом я терял не просто покровителя, но и искреннего и заботливого друга. Да и сам Яков Яковлевич покидал зону без особого энтузиазма. Он ехал в глухую сибирскую деревню, где находилась на спецпоселении его семья. Что ждало его там?

На освободившуюся должность главного бухгалтера ОЛПа был назначен Иван Макаренко. У меня работы прибавилось. Прибавилось и тревог. Как дамоклов меч висела угроза отправки женщин на этап. Что будет с Ниной? Какие меры можно предпринять? Положение осложнялось предстоящим переводом управленческого персонала ОЛПа на Головную. Нам с Ниной этот переезд не предвещал ничего хорошего. Ведь там хозяевами положения были Калиновский и Давид Андреевич.

В марте началось движение. Женщин со всех лагпунктов Кушмангортского ОЛПа стали перебрасывать на лагпункт «Лесная», который сделали чисто женским лесозаготовительным лагпунктом. Человек восемьдесят отправили на Головную, где с давних времён существовала специальная женская зона, отгороженная от остальной территории лагпункта высоким, в два человеческих роста, частоколом. Это позволяло, по крайней мере, формально, не нарушать требования сталинского приказа «о разделении полов». Какая-то часть женщин осталась на командировке Трактовая при центральной олповской больнице и пошивочных

мастерских. Движение затронуло и наш штабной лагпункт. С него на Головную и Лесную отправили почти всех женщин, за исключением тех, кто работал в бухгалтерии. Оставлена была и Нина. Вновь тревожное ожидание.

Наконец, в начале апреля 1947 года всё олповское начальство перебралось на Головную, разместившись в подготовленных для них кабинетах и жилье. Вслед за ними перегнали (этапом) и нас - заключённых, работавших в олповской бухгалтерии и плановой части. На Головной мне выделили место в бараке АТП, Нину поместили в женской зоне в барак «шоколадниц», где уже находилась Ольга Бутенко, прибывшая на Головную ещё с первым женским этапом.

На работу нас теперь водили в два приёма: сначала с общим оцеплением в рабочую зону, откуда потом, в сопровождении двух, а иногда и трех конвоиров, в контору. Там они же охраняли нас и надзирали за нами в течение всего рабочего дня.

Вскоре после переезда произошла смена руководства олпом. Макаренко уволился из «системы» и уехал. С ним уехал и Иван. Начальником ОЛПа был назначен Фаерштейн. Главным бухгалтером - армейский финансовый работник Ершов Александр Миронович. Отношение ко мне Фаерштейна, сложившееся еще на Штабном лагпункте, было самым добрым. По его словам, ему нравилось моё трудолюбие и хорошее знание производственных вопросов. Ершов оказался жизнерадостным и отзывчивым человеком. Фронтвик, сравнительно молодой, он не успел проникнуться лагерной идеологией и относился к нам, лагерникам, с непривычной для нас простотой и естественностью. Был он заядлым преферансистом и часами, закрывшись в своем кабинете, раскручивал «пули» с вольнонаёмными сотрудниками ОЛПа. Играл только на деньги и, как говорили его партнёры, весьма профессионально. Меня с первых же дней работы оформил своим заместителем и во всех вопросах, связанных с производственной деятельностью ОЛПа, полагался на мой опыт. Приходилось вертеться, особенно в дни, когда составлялись квартальные и годовые отчеты.

Нинин письменный стол, как и на Штабном, стоял рядом с моим. Работала она в производственной группе и вела производственные счета, в том числе картотеку объектов капитального строительства. Почему-то последняя её раздражала, особенно часто используемый термин «объект». По традиции, сложившейся ещё на Штабном лагпункте, готовила обед из продуктов, которые мы с ней получали сухим пайком. Иногда к нам присоединялся и Ефимчик.

В то время как служебные дела шли у меня вполне прилично, жизнь в зоне, особенно первые месяцы, складывалась из рук вон плохо. Между мной и Давидом шла скрытая борьба. Силы были явно не равны. Давид в зоне чувствовал себя хозяином. Вся обслуга и даже надзиратели были на его стороне. Они его уважали, к нему привыкли, от него зависели. Наконец, его поддерживал Калиновский. Я же, как и все мои сослуживцы, были на Головной людьми новыми, а, главное, для лагпункта чужими, ненужными. Ивана Макаренко не было. Обращаться же к Фаерштейну я считал неудобным.

Особенно остро переживал я свою беспомощность по вечерам, с приходом после работы в зону. За нами с Ниной внимательно следили десятки преданных Давиду глаз. Если она заходила ко мне в барак, тотчас появлялся надзиратель. Мне же зайти к Нине было вообще невозможно. Мужчин в женскую зону не пускали. Доступ туда, кроме надзирателей и вольнонаёмных начальников, имели только комендант и нарядчик. Давид этим пользовался, демонстрируя свои особые права. Пока он находился в женской зоне, я не находил себе места. Минуты казались часами. Нина и особенно Оля не переставали меня убеждать, что Давид очень порядочный, отзывчивый и добрый человек, который, несмотря на всю его любовь к Нине, никогда ничего плохого себе не позволит. Меня эти разговоры только раздражали. Особенно раздражала Ольга. Она целыми днями пропадала в кабинке Калиновского. У неё часто бывала Нина. Мысль, что там бывает и Давид, не давала покоя, однако унизиться до слезки я не мог.

Наверное, это не по-мужски, но должен признаться, что ни разу мне не пришло в голову выяснить наши с Давидом отношения силой. Более того, я даже ненависти не испытывал к нему. Я терзался сам, терзал Нину.

Несколько раз, в минуты отчаяния, принимал решение порвать с Ниной, но каждый раз её слёзы и уверения в любви останавливали меня. Измученный и опустошённый писал в те дни:

В чью бы дверь не стучал я с надеждой
Обрести тишину и покой,
Мне повсюду в ответ лишь смеются,
Прогоняя от двери чужой.

Утешение находил в работе. К счастью, её было более чем достаточно. ОЛП переходил на хлыстовую заготовку и вывозку древесины. Она считалась более прогрессивной, так как работы

по раскряжёвке переносились из леса на стационарную площадку нижнего склада. Однако при этом возникли неожиданные трудности. Присланные в ОЛП кубатурники были далеки от совершенства. Подсчитанные по ним объёмы заготовленной древесины существенно превышали те, которые получались после разделки хлыстов на сортименты. В мае образовавшаяся на нижнем складе недостача приняла угрожающие размеры. Нужно было срочно корректировать кубатурник. Эту работу Фаерштейн поручил мне. Днём я мотался по лесосекам, определяя коэффициенты “сбежести” разных пород древесины и вычерчивая профили стволов. Вечером в кабинете технорука ОЛПа Садикова вел расчёты. Засиживался допоздна, пока не начинал возмущаться конвоир. Через месяц напряжённого труда новый кубатурник был готов. Мне и охраннику выписали премии по 200 рублей каждому.

О моих особых отношениях с Фаерштейном и Садиковым, которые часто вызывали меня по вечерам в контору, а иногда брали с собой в поездки на лесосеки, стало известно на лагпункте. Постепенно и здесь отношение ко мне стало меняться к лучшему: мне выделили кабинку в торце одного из барачков, прекратилась постоянная слежка за Ниной. У неё появилась возможность навещать меня и даже наводить порядок в кабинке. Однако остаться на ночь она не решалась.

Запрос на выписку мне пропуска на бесконвойное хождение Фаерштейн направлял в Соликамск несколько раз. Разрешение пришло только в июне 1947 года. Маленькая невзрачная бумажка в картонном переплёте, вроде служебного удостоверения. Фотография, подписи, печать. А какая радость, какое счастье для заключённого таились в нём. Хорошо помню тот день, когда, миновав вахту, один, без охраны, вышел на работу. Специально выбрал тропинку, идущую вдали от основной дороги, по которой нас всегда водили на работу. Она шла то лесом, то полем, в обход производственной зоны. Было ясное солнечное утро. По синему небу медленно плыли курчавые белые облака. С одной стороны - опушка леса, с другой - луг, поросший сочной зелёной травой. Вдали пара стреноженных лошадей. И никого за спиной. Помню свои неуверенные шаги. Ноги плохо слушались меня, как после тяжёлой, изнурительной болезни. Думать ни о чём не хотелось. Весь отдался пронизывающему меня чувству свободы. Я мог идти, мог остановиться, мог лечь на сочную зелёную траву и смотреть в бездонное небо. Мог сойти с тропинки и рвать цветы. И никто не будет щёлкать затвором и кричать: «Шаг вправо, шаг влево считается побегом», и не зарычат в ответ овчарки.

Мысль о цветах, которые я мог принести в контору для Нины, вернула меня к реальности. Нарвав букет нежных полевых цветов, почти бегом направился к конторе. Через несколько дней пропуска выдали ещё нескольким работникам конторы. В том числе и Нине. Теперь для нас началась новая жизнь. Наконец-то мы могли посидеть на берегу Камы, уйти в лес, уединиться в зарослях. Но нужно было соблюдать осторожность. Хотя при наличии пропуска это и не считалось побегом, но могло быть квалифицировано как нарушение режима, что грозило немедленным изъятием пропуска. Приходилось таиться. Нина ещё долго вспоминала до смерти напугавшую нас белку.

Конечно, «свобода», которую давал пропуск, была относительной. Чтобы удалиться от зоны более чем на километр, нужен был особый маршрутный лист. Кроме того, пропуск был ограничен и во времени: с семи утра до восьми вечера. На более позднее время нужно было особое разрешение.

Для меня лично с получением пропуска открылось многое в прилагерной жизни. И прежде всего в жизни немцев-трудармейцев, с которыми я познакомился довольно близко. В Усольлаг они прибыли в начале 1942 года. Работали на лесоповале под конвоем. Жили в условиях, мало чем отличающихся от тех, в которых находились заключённые. Такая же зона с вышками, охранниками, собаками, утренними и вечерними поверками. Та же норма питания, та же высокая смертность, те же «похороны», когда умерших от истощения людей сбрасывали в общие ямы. Правда, одно отличие было: у многих из трудармейцев сохранились на руках комсомольские, и даже партийные билеты. Рассказывали, что в условиях лагерной жизни немцев коммунистов водили под конвоем на партийные собрания; что на многих из них по разным поводам, а чаще всего без оных, оформляли уголовные (естественно политические) дела, давали по «десятке» и отправляли в зону уже в качестве заключённых. Некоторое послабление началось лишь после окончания войны: сняли конвой, разрешили иметь небольшие личные огороды, чем многие спасли себе жизнь. С конца 1946 года немцев-трудармейцев стали расселять на территории Усольлага без права выезда за его пределы. Несколько семей поселились в окрестностях лагпункта «Головная». Здесь они построили себе дома, развели огороды, завели свиней и кур.

С одним из них я подружился. Звали его Федя, Франц Фабер. С первых дней войны воевал он в составе артиллерийского полка. Осенью 1941 года его, как немца, сняли с фронта и направили на Урал. Там он попал в Усольлаг. Пилил лес, голодал, доходил. По-

сле окончания войны был расконвоирован и назначен десятником, а потом мастером леса. Женился на такой же, как и он сам, трудармейке, побывавшей в немецком плену и за это после репатриации высланной на Урал. Ко времени нашего знакомства Фабер числился заведующим складами паровозного топлива. В его обязанности входили заготовка и размещение дров для паровозов. С переходом на хлыстовую вывозку на верхних складах стали оставаться только вершины и ветви, которые практически не годились для этих целей. Оставшиеся же от прошлых лет запасы быстро истощались. Начались проблемы с вывозкой хлыстов, и Фабера то и дело вызывали к начальству «на ковер».

И тогда у нас с Фабером родилась идея использовать на топливо шпалы, остающиеся на лесосеках после снятия временных железнодорожных путей (усов), прокладываемых в эксплуатируемые лесосеки. Силами своей небольшой бригады Фабер организовал их сбор, вывозку, разделку и складирование на основных магистральных участках. Я организовал их забалансовый учет. Начальству об этой операции ничего не говорили. Но когда в конце очередного месяца начался аврал и Тарасюк потребовал от Фаерштейна дополнительные кубометры, мы с Фабером смогли сделать ему подарок: несколько сотен недостающих кубометров древесины. Фаерштейн по достоинству оценил наше начинание, и мы радовались. Но вскоре обнаружилась и обратная его сторона. Теперь каждый раз, когда складывалась напряжёнка с выполнением плана, Фаерштейн вызывал нас в свой кабинет, запирали дверь и начинал выдавливать недостающие кубометры. В приёмной скапливался народ, иногда довольно высокие чины. Все возмущались. Особенно раздражало их то, что виновник задержки - заключённый. Постепенно за мной закрепилась таящая в себе опасность кличка «тайный советник Фаерштейна».

Вряд ли при таком отношении ко мне могу быть объективным в оценке П.Е. Фаерштейна, но в его защиту должен сказать, что, по мнению всех, кто с ним общался, был он не только хорошим специалистом в области лесозаготовок, но и неплохим лагерным начальником. Его отношение к заключённым было ровным, без крика и шума, но и без заигрываний. Не помню, чтобы кто-либо из работяг плохо отозвался о нем. Однако во всех его поступках, доступных моему наблюдению, лежал расчёт. Характерен в этом отношении один запомнившийся мне эпизод.

Был жаркий летний день. Фаерштейн, Трояновский, руководивший в ОЛПе строительными работами, и я шли по полотну узкоколейной дороги. Куда и зачем, и почему не в спецвагоне Фаер-

штейна, уже не помню. Навстречу нам с гаечным ключом в руке - путеобходчица. Молодая женщина в лагерной робе. Пройдя достаточно далеко, чтобы та не могла его услышать, Фаерштейн, обращаясь к Трояновскому, спросил:

- Вы знаете, кто эта женщина?

- Нет, - ответил Трояновский.

- Это Иванова - лагерная жена бригадира Каримова. Его Вы конечно знаете?

- Конечно, знаю, но зачем Вам знать, что Иванова его жена? – удивился Трояновский.

- Ну как же! Я обязан знать подобные вещи, если хочу разумно использовать кадры, - возразил Фаерштейн и, помолчав, добавил:

- Помню, мне нужно было перебросить Каримова на лагпункт Северный. Если бы я это сделал, не зная его связи с Ивановой, то встретил бы с его стороны глухое и упорное сопротивление. Конечно, можно было отдать соответствующее распоряжение, но как бы отнесся Каримов к своим обязанностям на новом месте. А так, добившись для Ивановой пропуска и отправив её путеобходчицей на лагпункт Северный, стал ждать. Через несколько дней приходит ко мне Каримов и просится на Северный. Обещает хорошую работу, рекорды. Я, естественно, согласился! И вот, как вы знаете, Каримов выполнил своё обещание. И немного помолчав, как бы оправдываясь, добавил:

- Но ведь и им тоже хорошо.

Трояновский ничего не ответил. Ему, квалифицированному инженеру-строителю, отбывшему в свое время 10 лет и оставшемуся при зоне, рассказ Фаерштейна явно не понравился, и он этого даже не пытался скрыть.

Возникла тягостная пауза. Вдоль трассы дул легкий ветерок, спасая нас от назойливого уральского гнуса.

Лето сорок седьмого запомнилось мне двумя хитроумными побегами, которые, к сожалению, не увенчались успехом.

Первый из них задумал и осуществил бывший военврач, работавший вместе со своим фронтовым другом в медпункте производственной зоны. Где уж они раздобыли два испорченных противогаса (без фильтров) - не знаю. Но сыграли они в их планах решающую роль. Кроме противогасов, они запаслись сухарями, салом и верёвками и, выбрав подходящий день, когда особенно активно велись сплавные работы, столкнули в воду четыре больших бревна, связали их попарно верёвками, надели противогасы, после чего, погрузившись в воду и выставив гофрированные трубки над поверхностью воды, залегли под брёвнами. Проскользнув не-

замеченными между «поплавками» с охранниками, они, в соответствии с разработанным планом, должны были проплыть вниз по Каме еще, по крайней мере, 10-12 километров, чтобы выйти за пределы ОЛПовской территории. Но случилось непредвиденное. Бревна, увлекаемые неравномерным течением, стали удаляться друг от друга. В результате причалили они в разных местах, встретиться не смогли и поодиночке углубились в лес. У одного в резиновом мешке были сухари, у другого - сало. Тот из них, у которого были сухари, обходя встречающиеся на пути деревни, посёлки и даже одиночные охотничьи сторожки, смог добраться до глухой железнодорожной станции, и был схвачен оперативниками уже в пути на платформе, на которой он прятался под рваным брезентом. Второй пробыл на свободе дольше. Не имея хлеба, он грыз сало, заедая ягодой и грибами. Вскоре у него начался кровавый понос. Целую неделю он занимался самолечением, поедая в больших количествах, как ему казалось, лечебную траву. Но ничего не помогало. Он быстро терял в весе. Из последних сил добрался до ближайшей деревеньки и постучался в крайнюю избу. На этом его свободная жизнь закончилась.

Привезли их назад в Кушмангорт и здесь судили. Следователя особенно интересовало, как они смогли, оставшись незамеченными, надеть противогазы, зайти в воду и залечь под брёвнами. Следователь считал, что здесь не обошлось без помощи других заключённых. Искал, но никого не нашёл. А беглецам добавили каждому до десяти лет и вернули в зону.

Второй побег кончился кровью. Все началось с того, что один из бригадиров, руководя накаткой штабеля, решил оборудовать в нем кабинку для встречи с вольнонаёмной учетчицей. Для этого по его указанию восемь рядов по краям заполнили метровыми чурками, поверх которых потом накатали длинномер. Чтобы попасть в кабинку, достаточно было вытащить две специально подогнанные чурки и лезть в образовавшийся лаз. Почти год штабель стоял нетронутым. Летом бригадир ушел на освобождение, а кабинкой завладели трое бывших фронтовиков. День за днем носили они в рабочую зону и прятали в кабинке сухари, солёную рыбу, сало; запасались водой. Наконец наступил день, когда они «залегли».

Хорошо помню тот вечер. Все с нетерпением ждали, когда конвоиры простучат съём, означающий, что списки на вахте сошлись, и все бригады в полном составе покинули рабочую зону. Но съёма всё не было. Значит, что-то там не сошлось. По коридору ОЛП-овской конторы началось оживлённое движение. Суетились и о чем-то тревожно переговаривались офицеры ВОХР.

Вдоль зоны оцепления и со стороны Камы расставили дополнительную охрану. Вечером, когда стемнело, зажгли прожектора, вдоль и поперёк исчертившие территорию нижнего склада. Огромные штабеля, которые успели накатать после окончания сплавных работ, отбрасывали длинные угловатые тени. Вокруг сновали проводники с собаками. Нас, конторских, срочно, невзирая на лица, отправили в жилую зону. Утром на работу не выпустили. Весь конвойный состав и надзиратели, а также часть вольнонаемных работников были направлены на усиленную охрану рабочей зоны. Двое суток длилась осада. Охрана сбилась с ног, но ничего обнаружить не могла. На третьи сутки организовали ложный съём. Цепь охранников залегла в кустах и перелесках в сотне метров от колючей проволоки, огораживающей территорию нижнего склада. Вечером охранники на вышках простучали «съём» и, демонстративно покинув свои рабочие места, присоединились к своим товарищам, залегшим в кустах. Выключили прожектора. Все замерло... Ночью на центральном участке зоны раздались неясные шорохи. Ползущих беглецов расстреляли в упор в ослепительных лучах мгновенно вспыхнувших прожекторов.

Утром, выведенные за зону заключённые увидели три брошенных на подводу окровавленных трупа. Командир взвода Башкирцев объявил, что такая участь ожидает каждого, кто решится на побег.

В суете и заботах прошла осень. Закончилась отчетная лихорадка и вот он, свеженький, только что переплетённый и еще пахнущий коленкором и клеём квартальный отчёт. В нем баланс, три десятка форм с тщательно выверенными показателями и объёмная пояснительная записка – плод кропотливой многосуточной работы нашего коллектива. На титульном листе надпись - «Совершенно секретно» и рубленая, без плавных линий и переходов подпись Фаерштейна.

Выезжая с отчетом в Соликамск, Ершов решил взять меня с собой, чем заронил в наши с Ниной души смутную тревогу. Увидимся ли ещё? Не отправят ли её без меня за пределы ОЛПа? Такое с другими уже бывало, и не раз. Надеялся, что Фаерштейн подобного не допустит. Но знал ли он о наших с Ниной отношениях? Я был уверен, что знал. Нина сомневалась и ругала тот день, когда нам выдали пропуска.

– Если бы не они, то тебе не пришлось бы сейчас ехать в Соликамск, – шептала она. Мы стояли за высокой поленницей дров, скрывавшей нас от посторонних глаз. Нина плакала, а я целовал

её мокрое от слез лицо и, как мог, успокаивал. Но это мало помогло. Ведь расставались мы, хотя и ненадолго, но впервые.

Ехать мне с Ершовым предстояло сначала на лошади до Чердани (примерно 20 километров), а оттуда на пароходе до Соликамска (по реке, следуя её изгибам, примерно 140 километров). Выехали после обеда. Сырая песчаная дорога. По обеим сторонам низкорослые тёмно-зелёные ели, пожелтевшие берёзы, пламенеющие на ветру осины. То тут, то там, простирая над ними разлапистые ветви, возвышались могучие сосны. По обочине покосившиеся от старости и почерневшие от осенних дождей телеграфные столбы с перекладинами и отмытыми до первоизданной белизны изоляторами.

Незаметно подъехали к Чердани. До отхода парохода оставалось более трёх часов. Ходили по городу. Он оказался совсем маленьким. Не более шести-семи тысяч жителей. Дома одноэтажные, деревянные. Улицы не мощёные. В центре несколько старинных кирпичных зданий. Одно из них, крупное и ухоженное, занято под райком и райисполком. Вдали, на отшибе, за рощицей высоких деревьев, какое-то строение из красного кирпича. То ли бывший монастырь, то ли полуразрушенная церковь. Позже довелось узнать, что в этом здании размещалась гостиница и даже ночевать в ней.

Пароход колёсный, ещё, наверное, с царских времён. Медленно шлёпая по воде своими лопастями, плыл сначала по Колве, на которой стояла пристань, потом по Вишере, в которую впадала Колва, а с середины пути по Каме. До глубокой ночи простоял я на палубе. Мерцающая лунная дорожка, огоньки бакенов. Немного поодаль одинокая женская фигура. Ветер трепал ей волосы, раздувал полы плаща. А мысли мои о Нине. При расставании она показалась такой одинокой и беззащитной. Как-то сложится наша жизнь.

В Соликамске, вопреки существующим правилам, Ершов ухитрился устроить меня в гостинице в одном с собою двухместном номере. Устроившись с жильём и позавтракав, направились в Управление. Там, после сдачи отчета, меня направили работать в сводно-аналитический отдел. Я старался изо всех сил. Во-первых, потому что мне эта работа нравилась, а во-вторых, потому что хотелось зарекомендовать себя и утвердиться в должности, чтобы меньше зависеть от настроения Фаерштейна или Ершова. Ведь в любой момент все могло рухнуть, а я - оказаться на общих работах.

Пока я трудился в отделе, Ершов в гостинице играл в карты, выбивая из партнеров вполне приличные суммы. По моей просьбе, связываясь по телефону с бухгалтерией ОЛПа, интересовался здоровьем Нины.

Пробыли мы в Соликамске почти 10 дней. За это время я познакомился с главным бухгалтером Усолялага Яковом Михайловичем Шахановым и начальником сводно-аналитического отдела. По-видимому, моя работа им понравилась. Во всяком случае, с тех пор меня стали вызывать в Управление с каждым квартальным отчетом, иногда без Ершова. Там же, в Управлении, познакомился с двумя немцами, главными бухгалтерами соседних с Кушмангортом ОЛПов, Шпади и Норденом. Между нами шло негласное соревнование, кто раньше сдаст отчет. Однажды Шпади, который был большим шутником, в самый разгар работы над квартальным отчетом прислал в нашу бухгалтерию посылку с семечками, задержав с их помощью окончание отчета на целый день.

Вернулись мы в Кушмангорт в конце октября, уже по снегу. Нина выглядела усталой, но радостной. Рассказала об одном знаменательном для нас событии, вернее реакции на него Фаерштейна. В наше отсутствие один из новых работников бухгалтерии, стал в присутствии Нины грязно ругаться. Нине это показалось очень обидным, и она в слезах выбежала из бухгалтерии и там, в коридоре, столкнулась с Фаерштейном. Через некоторое время её разыскал секретарь Фаерштейна и сказал:

– Меня послал Павел Евсеевич узнать, почему плакала жена Майера.

Я оказался прав: Фаерштейн был в курсе наших с Ниной отношений и не осуждал их. В условиях лагеря это было важнее, чем регистрация в ЗАГСе.

Весной сорок восьмого Нина заболела. Началась ангина, которая потом перешла в воспаление легких. Врач положила её в больницу, находящуюся на лагпункте Трактовой. И вот теперь почти ежедневно в конце рабочего дня я, нарвав подснежников, ехал к ней. Но попасть на территорию Трактовой можно было, только записавшись к врачу. Я записывался к зубному, благо здоровых зубов оставалось очень мало. Почти каждое посещение стоило мне если не зуба, то корня, а их у меня было не менее десятка. Вытерпев экзекуцию, получал возможность посетить палату, в которой лежала Нина.

В одно из таких посещений я застал у Нины Нелю Сороку, которая лежала в той же больнице, только в палате для вольнонаёмных. Устроившись на Нининой кровати за её спиной, тёмново-

лосая, курчавая, с тёмно-карими глазами, она смотрелась в своём ярком халатике очень эффектно, знала это и явно кокетничала. Я то и дело переводил на неё взгляд, понимал, что этого делать ни в коем случае нельзя, что Нина болезненно переживает предательство, но ничего поделать с собой не мог. К счастью, пришла медсестра и потребовала, чтобы Неля ушла к себе в палату. Оставшись наедине со мною, Нина воздала мне по заслугам. Потом, как бы оправдываясь, сказала, что Неля совсем замучила её разговорами обо мне.

Наша встреча с Нелей, которую я на какое-то время терял из поля зрения, имело продолжение.

Лето было сухим и жарким. От искр, выбрасываемых паровозами, особенно когда они с грузом шли на подъём, то тут, то там загоралась сухая трава, а от нее и лес. И хотя паровозы были миниатюрные, пожары от них возникали самые настоящие. В этих случаях по тревоге поднимали всех пропускников, прежде всего из обслуги, и бросали на тушение пожара. В тот день огонь, подгоняемый ветром, двигался со стороны лагпункта Восточный в направлении лагпункта Северный. Никаких естественных рубежей в виде поля или реки на его пути не было. Только просека, по которой когда-то проходил железнодорожный ус. Нас цепью растянули вдоль просеки и заставили таскать сушняк, чтобы организовать фронт встречного огня. Всем раздали спички и бересту.

Когда послышался гул приближающегося огня, и небо заволкло чёрным дымом, стало страшно. Все понимали, какая участь ожидает многих из нас, если огонь не удастся остановить. Недавно в аналогичных условиях, правда не в Кушмангорте, погибла целая бригада.

Огонь шёл верхом. Нижний запаздывал. В какой-то момент мы почувствовали движение воздуха навстречу огню. И тут же раздалась команда «поджигай». От нервного напряжения у кого-то ломались спички, у кого-то не загоралась береста. Но вот сушняк вспыхнул. Языки пламени лизнули пересохшую хвою и взметнулись навстречу надвигающейся лавине огня. Два смерча, столкнувшись, с рёвом взметнулись к небу. Несколько секунд пламя гремело и клочкотало, после чего все разом стихло. Ещё светились обожжённые стволы, ещё то тут, то там с треском отлетали сучья, но было уже ясно, что огонь остановлен.

Измученные, грязные, с лицами и руками, измазанными сажей, выходили мы из длинной, как кишка, просеки, которая могла стать для нас западнёй. Наконец, основная магистраль, гружёный состав. Длинные хлысты размещались на спаренных платформах,

оставляя на одной из них некоторое пространство. Одни из нас разместились на выступающих стволах, другие, в том числе и я, на самой платформе. Донельзя измученный, задремал, опустив голову на колени какой-то женщины, сидевшей на выступе бревна, и так ехал до нижнего склада. Оказалось, что этой женщиной была Неля. И Нина, сидевшая недалеко от меня, это видела, и всё в ней клокотало от негодования. Все попытки объясниться оказывались безрезультатными. Неделю она со мной не разговаривала и не готовила обед. Так что пострадал не только я, но и питавшийся с нами Ефимчик.

Лето 1948 года запомнилось мне ещё одним неординарным событием. В тот памятный для меня день спецпоселенцев немецкой национальности начали с утра сгонять в клуб, якобы на собрание. Гнали всех поголовно: мужчин и женщин, стариков, взрослых, детей. Заставили взять и младенцев. Собрали, не объяснив причин.

Ждали какого-то высокого энкеведешного чина из Соликамска с текстом правительственного Указа. Шли часы, уже стало смеркаться. А он всё не появлялся. Голодные дети ревели, перепуганные матери потихоньку плакали, мужчины, в основном лесорубы и грузчики, сжав кулаки, метались по клубу, как дикие звери в клетке. А снаружи охранники с автоматами и собаками.

Высокий чин прибыл только в 10 часов вечера. Всех согнали в актовЫй зал и там прочли Указ Президиума Верховного Совета СССР. В нём говорилось, что все лица немецкой национальности закрепляются в местах расселения *навечно*. За нарушение требований Указа, за самовольный выезд за пределы резервации грозили двадцатью годами заключения.

Зал замер. Только грудные дети продолжали плакать, а матери делали безуспешные попытки их успокоить.

Потом всех взрослых заставили расписаться в специальных ведомостях за себя и за своих несовершеннолетних детей в том, что они ознакомлены с содержанием Указа.

Примерно в это же время, в 1948 году, был отменен расстрел, а в качестве высшей меры наказания введен 25-летний срок заключения. Но уже через год смертную казнь восстановили, а двадцатипятилетний срок стал обычным, и теперь осуждённые на этот срок заключённые стали поступать сплошным потоком.

Осенью сорок восьмого над политическими заключёнными начали сгущаться тучи. Началось с того, что у всей пятьдесят восьмой, кроме тех, кто имел десятый пункт, изъяли пропуска. Осталась без пропуска и Нина. В бухгалтерии снова появились надзи-

ратели и конвоиры. В ноябре пронесся слух, что в УРЧ готовятся списки на отправку всей пятьдесят восьмой в какие-то специальные режимные лагеря. Постепенно новость стала обрастать деталями. Выяснилось, что приказ на отправку пришел из Москвы, что режимные лагеря создаются где-то в Казахстане, что в списки включают всех «политических» вне зависимости от пола, возраста, здоровья и оставшегося срока, за исключением тех, кто был осуждён по десятому пункту. В списках была и Нина.

Вскоре из Соликамска прибыл фотограф. Обречённых фотографировали справа, слева и в анфас, предварительно повесив на шею дощечку с личным номером. Процедура унижительная. Некоторые, особенно те, кому до окончания срока оставались считанные месяцы, теряли сознание. Им казалось, что это конец их надеждам на освобождение. Чтобы успокоить Нину, попросил сфотографировать и себя. Должен признаться, что ощущение пренеприятное, даже когда знаешь, что это не всерьёз. Нина, перенёсшая серьёзное нервное потрясение, вновь оказалась на лагпункте Трактовый. Вскоре туда попала и Ольга. Нине стало легче, хотя тревога, ежедневная и мучительная, её не покидала.

Мои посещения Трактовой затруднились. Больных зубов уже не осталось, и каждый раз приходилось оформлять пропуск. В конце ноября Ершов направил меня, во главе ревизионной группы, на лагпункт Трактовый с очередной плановой проверкой. Отправил на целую неделю. Ситуация для нас с Ниной сложилась исключительная. Я обосновался на Трактовом на законных основаниях, имея право проверять все виды финансовой и хозяйственной деятельности лагпункта. Под жильё мне выделили кабинку медсестры больницы Алины Карловны Берзинишь. Кабинка была при больнице, в одной из палат которой лежала Нина. Наконец появились условия, которых мы никогда не имели. Это был если не медовый месяц, то медовая неделя. Однако страх предстоящей разлуки придавал нашим встречам горький привкус.

В конце января 1949 года мы с Ершовым выехали в Соликамск сдавать годовой отчёт. Я ехал с тяжёлым сердцем. Нина болела. Уже полмесяца у неё держалась температура, исчез аппетит, и никакие лекарства (из числа имевшихся) ей не помогали. Кроме того, была опасность, что как раз в мое отсутствие пятьдесят восьмую отправят на этап. Ехали грузовиками до Соликамска. Был сильный мороз, и мне в дорогу выдали огромную меховую шубу, чёрную и почему-то мехом наружу.

Возвращался один. Не заезжая на Головную, направился к Нине. Как был, в шубе и снегу. Прямо с мороза зашел к ней в па-

лату и вывалил на кровать подарки: ей и врачам, а главное, пенициллин.

Но и пенициллин не помог: устойчиво держалась субфебрильная температура, мучила тошнота. Начальница санчасти ОЛПа, Нина Ивановна Стряпкина, по моей просьбе лично курировавшая Нину, терялась в догадках. Только в феврале обнаружила, что Нина в положении. Принесла из дома борщ, лично ею приготовленный, и заставила Нину съесть целую тарелку. Позвонила мне, поздравив с будущим ребенком.

В марте 1949 года всех политических - и молодых, и совсем старых, и здоровых, и больных, кроме 58-10, - собрали на Тракторном. Дальнейшая их отправка за пределы ОЛПа и Усольлага задерживалась из-за раскисших дорог. Никакой уверенности в том, что Нину удастся спасти от этапа, и задержать в Кушмангорте не было, хотя до окончания срока ей оставалось всего четыре месяца, и она была беременна. Этап отправили в начале мая, в печально известный спецлагерь «Спасское». Нина, одна единственная из всего многосотенного списка, была оставлена. И никто не признавался, кому я был обязан этим нашим счастьем.

Но другие-то ушли: ушла Оля Бутенко, Муся Олейник, Василий Алтынников, Ефим Нестерук и многие, многие другие. Всех их отправили в страшные Казахстанские лагеря, в район медных рудников Экибастуза, в лагерь «Спасский». Многие из них, особенно те, кто был постарше или обременен болезнью, там и окончили свой жизненный путь. Те же, кто был помоложе, здоровее или смог устроиться в обслуге, выжили. Среди них Ефим Нестерук, Ольга Бутенко, Муся Олейник.

В июле Нину этапировали на Головную для отправки на освобождение. Отправлять должны были общим этапом на барже. Заранее было известно, что вместо «освобождения» её направят на пять лет в ссылку. Но куда - мы, естественно, не знали. Снаряжали Нину всей бухгалтерией. Помог и Фабер. Купили женский плащ в мелкую клетку, заказали сапожки, ну и всё прочее. Установили контакт с воровским авторитетом, отбывающим тем же этапом, чтобы он обеспечил Нине неприкосновенность в пути.

Баржа ушла! В душе пустота и отчаяние. Долго сидел на берегу, глядя в ту сторону, где за зелёным мысом скрылся катер с баржей. Теперь я ей уже ничем не мог помочь. Беспомощную, на седьмом месяце беременности, её увозили в ссылку, которая могла оказаться для неё хуже лагеря. Мне же оставалось только ждать, и мое бессилие угнетало меня, доводя до отчаяния.

Долгожданный звонок раздался только через неделю. Яков Родионович Попов - главный бухгалтер Комендантского ОЛПа - сообщил, что Нину завтра утром отправляют на север Красноярского края. Как на грех, ни Фаерштейна, ни командира дивизиона не было и некому было подписать маршрутный лист. Но это не могло меня остановить. Через час я был уже в пути. До отхода парохода от Чердынской пристани оставалось всего два часа. Два часа на двадцать километров лесной песчаной дороги. Когда я подбежал к пристани, с парохода уже убрали мостки. Я метался по дебаркадеру, пытаюсь дотянуться до кормы разворачивающегося парохода. Но безуспешно. Слезы отчаяния душили меня. Сел на какой-то ящик и сразу почувствовал невероятную усталость и пустоту. Почему-то сильно болели пальцы ног. Осторожно снял тапочки, они были полны окровавленного песка. Песок, набиваясь в тапочки, постепенно отдирает ногти (носок у меня не было), особенно страшно выглядели и болели большие пальцы. Казалось, дальше не смогу сделать ни одного шага.

Но нужно было идти, идти любой ценой, чтобы ещё раз увидеть Нину. Проводить её. Идти по территории, нашпигованной лагпунктами, охранными постами и засадами. А у меня нет маршрутного листа и, следовательно, я беглец и меня запросто могут пристрелить. В лучшем случае схватить, судить и добавить до десяти. К тому же острая боль в ногах и совсем немного денег, только для Нины.

Но идти надо, и не только идти, но и дойти. И я, прихрамывая, двинулся по избитому Соликамскому тракту. Впереди 120 километров. А уже сгущались сумерки и, следовательно, оставалось не более двенадцати часов - десять километров на каждый час. Не помню, сколько я шёл и сколько прошёл, наверное, не более 15-ти километров, когда за поворотом матовым светом замерцала река. Это Колва и, следовательно, где-то там, внизу, переправа. Она представляла для меня большую опасность. Именно здесь, скорее всего, мог находиться охранный пост. С замирающим сердцем подходил я к парому. На этот раз судьба пощадила меня. Старик-паромщик оказался один и за пять рублей переправил меня на другой берег.

Крутой и скользкий от моросящего дождя подъем дался мне с большим трудом. Насквозь промокшая одежда липла к телу. Штанины брюк по колено в грязи, их нижний край в лохмотьях. Иду, без малого, четыре часа. Дождь прекратился. Выглянула луна. Дорога начала спускаться в лощину. Лес расступился. И на открывшейся поляне, в клубах белого, как молоко, тумана - табун лоша-

дей. В призрачном свете лошади казались сказочно огромными и свирепыми. Стреноженные, они двигались скачками, скалили зубы, мотали головами. Их гривы сплетались с прядями тумана. Я с ужасом пробирался среди них, упорно продвигаясь вперед. Миновав табун, присел на валявшееся у дороги бревно, присел и понял, что дальше идти не смогу. Да и бесполезно, все равно до утра не дойти.

И представил я, как утром выведут Нину за вахту, а меня не будет. Какое отчаяние охватит её. Какая безнадежная пустота поглотит её душу. И я встал и пошёл. Через некоторое время впереди меня вершины елей осветились слабым светом. Машина! Во мне все замерло. Первая мысль - погоня. Сейчас меня схватят. Но кто и почему? Кто мог специально гнаться за мной. В ОЛПе поднять тревогу не могли, это не позволил бы Фаерштейн. Значит, машина случайная. Лишь бы не оперативная. По шуму мотора догадался, что идет грузовик. Решил остановить. Шофёр, сочувственно оглядев меня, согласился подбросить до Соликамска за тридцать рублей.

И вот я в кузове. Мокрый, продрогший, с распухшими пальцами ног. Машину подбрасывает на ухабах, моросит дождь, пронизывает ветер, ветви деревьев хлещут по лицу. Уже рассвело, когда шофёр, в соответствии с уговором, остановился у ворот КОЛ-Па.

С трудом сгибая ноги, спускаюсь на землю, рассчитываюсь. И в этот момент понимаю, что кто-то зовёт меня. Оглядываюсь. Пожилой вахтер машет рукой, подзывает. Около вахты колонна заключённых. В дверях вахты Нина! Самый дорогой мне человек! Четко обозначился животик. Плащ не застегнут. Лицо осунулось и все в родовых пятнах. На плече вещевой мешок. Смотрит на меня и плачет. Слезы бегут по лицу, смешиваясь со струйками дождя. «Робочка, родной мой! Ты все-таки успел!» Мы обнялись.

Она плакала, уткнувшись мне в плечо. Вахтер, конвоиры и вся колонна заключённых молча смотрели на нас. Наконец, мы пришли в себя. Я суетливо совал ей деньги, собранные друзьями, и мешочек с продуктами. Оживился конвой, начал торопить. Она шла в колонне последней, оглядываясь и спотыкаясь. Всё! Щемящее чувство невосполнимой потери сжало мне горло. Что ждет её там, в низовьях Енисея? Что будет с нашим ребёнком?